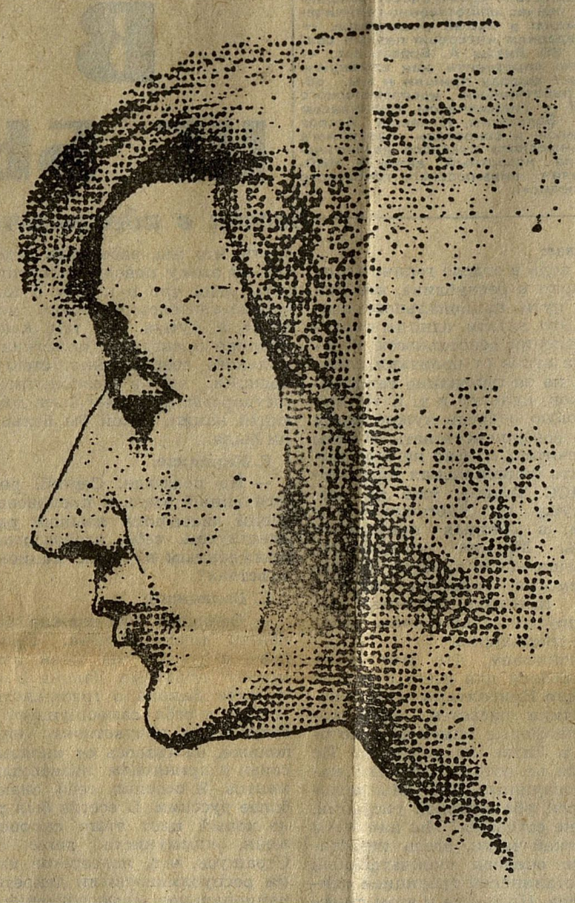
Нашим читателям нет нужды представлять выдающуюся русскую поэтессу Марину Ивановну Цветаеву (1892—1941). Она хорошо известна по многочисленным изданиям не только как поэт, но и как драматург, писала она также и художественную прозу, и критические работы, выступала в жанре мемуаристики. И все-таки так случилось, что публикуемый ныне ее «Вольный проезд» фактически неизвестен советским читателям, хотя был создан Цветаевой еще в 1924 году. В какой атмосфере рождалось это необычное произведение?

Позволю себе напомнить некоторые факты биографии Марины Ивановны Цветаевой. Родилась она в семье московских интеллигентов. Февраль 1917 года застал ее в Москве. Октябрьская же революция разлучила ее с мужем — С. Я. Эфроном, оказавшимся в стане белых. Личные житейские трудности, смерть в приюте малютки-дочери и желание воссоединения с мужем заставили Цветаеву в 1922 году покинуть Родину. Сначала она жила в Чехии, затем — с 1925-го — во Франции. Первые годы эмиграции были для нее плодотворными. До 1928 года она выпустила шесть книг, печаталась во многих сборниках, альманахах, крупнейших журналах зарубежья — «Современные записки» (Париж), «Воля России» (Прага), «Благонамеренный» (Брюссель) и других. В 1939 году вернулась на Родину...

«Вольный проезд» был опубликован лишь в парижском журнале «Современные записки». Нынешнюю публикацию (с сокращениями) подготовил ВАЛЕНТИН ЛАВРОВ.



Марина ЦВЕТАЕВА

ВОЛЬНЫЙ ПРОЕЗД

«Современные записки» 1924 г. № 21 (ПАРИЖ)

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертовой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что, живи я полтораста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ. «для изучения кустарных вышивок» — за пшеном. Вольный проезд (провоз) в 1½ пуда).

Дорога на ст. Усмань, Тамбовской губ.

Посадка в Москве. В последнюю минуту — точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон — как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N., его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и... почти что в роли реквизирующих. У тещи сын — красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

— Уже три раза ездила,— Бог миловал. И белой мучки привозила, и сальца, и сахарцу. Да не фунта-ами: пуда-ами! А что мужики злобятся — понятное дело! Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все же и достаток был, и почтенность. Как же это так — человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть — ничего не говорю — пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышни? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо?

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что же это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно... (что это я все «барышня»,—положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)... оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоске обирать — себя разорять! И корову доить — разум надо. Жми да не выжимай. Да-а...

А уж почет-то мне там у него на пункте — ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки из четвертого класса вышли: Колька — в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыла, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовала. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке — только что не купаются! Четвертый раз езжу» <...>.

<Из вагонных разговоров:

— А есть, товарищи, в Москве церковь — «Великого Совета Ангел».

...Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу.— «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат — офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит) — «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты — ответ: «Я спирит социалистической партии».>

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог,—идя со станции, чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них — мне: «Вы что же — ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына). Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» — и: «Ну вас совсем — ко всем!»...

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»... (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот — муж подкузьмил: умер!»). Словом, меня нет,— я: при...

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю, собственно, и сбившему меня на эту поездку)—мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» — Второй сапог.— Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

— Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

...Пляшет огарок. Огромные — на стене — тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете...).

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая, по зверскости, расправа).

Уехали — не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

Хозяйка (жена того опричника со слитком)—маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

— Это у вас платиновые кольца?

— Нет, серебряные.

— Так зачем же вы носите?

— Люблю.

— А золотых у вас нет?

— Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

— Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «как и всякая революция!»).

— А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает)... Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например,— можно свиное сало, если совсем белую муку — можно совсем белую муку.

Я, робко: — Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу...

Она, почти дерзко: — А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно: — Я не только золотые вещи оставила, но... детей!

Она, рассмешенная:—Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): — Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической Коммуны...

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше — владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

— Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне,— это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю! Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета — приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру...

— Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

— Да-а...

— А что вы читаете?

— «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

□

Ст. Усмань Тамбовской губ., где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

...Базар. Юбки — поросята — тыквы — петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь, и ухожу с ней с базару — ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» — и вот... Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: — «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.

— Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола,— знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

...Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны огромный круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей,— а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил — умер!») хам. Коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь на деньги — не хватит и коммунистической совести!).

Всячески пария: для хамки — «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама — «буржуйка», для тещи — «бывшие люди», для красноармейцев — гордая стриженая барышня. Роднее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам — и одинаковая доброта: как колыбель <...>.

...Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате.

Присутствующие, было — опустив, быстро отводят глаза.

С утра — на разбой.— «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» — Как в сказке.— Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» — вольные, обеды — платные). Вина что-то не заметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ: впечатлениями (Вещественный дележ производится на месте). Купцы, попы, деревенские кулаки... У того — столько-то холста... У того — кадушка топленого... У того — царскими тысячу... А иной раз — просто петуха...

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

— Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долгосопротивлявшееся вызывает в нем любование.

— Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведывать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа,—мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?».

Я по самой середине сказки... Разбойник, разбойникова жена — и я, разбойниковой жены — служанка. Конечно, может статься — выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряся свои 18 ф. пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню — и тут же — без отдыши — выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту)!

— Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как — целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!). Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется,— даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).— «Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!»

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт»).

...Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош — Наксос!) вот уже вторая неделя — ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф. пшена, 10 ф. муки, 3 ф. свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

□

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснущатое: Есенин, но без мелкости. Только что вместе с другими молодцами вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

— Разин! — Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: мой Разин (песенный) белокур,— с рыжевцой белокур (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белыя кудри: и буйно и бело. А белокур — что? Белыя куры? Какое-то бесхвостое слово!). Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра-зин! Заря, разлив,— рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота — гуща. Разин — до бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал *:

— Из Москвы, товарищ! Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы...

Москва — всем городам мать. С Москвы все и пошло — царство-то.

Я: — Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: — Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол — да в ответ-то ему — да кажинная на свой голос-то — да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл — уж и не знаю: чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился,— ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

— Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми — иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи за тем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию.—ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог — свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя не черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру,— как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валить. Поп, крысий хвост, нашкодил — Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихняго брата в точности превзошел. Кто первый вор? — Поп. Обжора? — Поп. Гулена? — Поп. А напьется,— только вот разве — барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

— Ну а монахи, отшельники?

— А про монахов и говорить нечего, чай сами знаете. Слова постныя, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

— А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

— Да сам, признаться, не читал,— все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня — великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой — так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

...А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: — Да как же на тебя, голубчик, не...

Он, разгораясь: — Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная — в монастырь не иди, а моленная — глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: — Морализирующий Разин (Вслух). Вы мне лучше еще про отца расскажите.

— О-тец! Отец у меня — великий человек! Что там — в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя — язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад — да за семью за ними морями — тридевять земель пройдешь — в тридесятой,— это не хитро великим быть! А может так, выдумки одне? Этот-то (взмах настенного Маркса)... гривач косматый — вправду был?

Я, не сморгнув: — Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина — знаете? Вымозговали, пиджак надели, бородугриву распушили, по всем заборам расклеили.

— А вы, барышня, смелая будете.

— Как и вы.

(Смеется).

...Но вы мне про отца рассказать хотели?

— Отец. Отец мой — околодочный надзиратель царского времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)... Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглыя сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да-денницы... Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговыя, книжицу свою разворотит — и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос)... Все судьбы знает. Все сроки. Все кому-что положено, кому-что заказано,— никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтил. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей — она, змеиной кожей и свалится». ...Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Кажду ночь до петухов сидит.

Говорю ему стихи Царевичу, «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

— Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило! — ...Пойла-стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю — не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер,— вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

— Попадетесь.

— Я?!! — Рожа из вдохновенной делается грабительской.— Я — да попасться? Нерожен еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожен — непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (Руки по карманам)! Хотите — сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) — по разинскому!

— А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,
Ночь подходит — каменною горой,
И с своей княжною...

Говорю, как утопающий,— нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не Персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская,— довременная Русь я — тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер — хочешь? — где сквозь дыру — самая большая звезда.

Но...

— Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (Пишу, конечно, печатными).

— Дэ... мэ... А вот и е,— аккурат церковка с куполом.

— А вы сам деревенский?

— Сло-бодский!

□

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

Утреннее посещение (ночевал в вагоне).

— М. И., сматывайтесь — и айда! Что вы здесь, с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы,— черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (Тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет,—одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне — так уж безо всяких: — «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь».— Такия дела!

А еще, знаете, другое удовольствие: ночью проснулся разговор. Черт этот—еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж — Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: — Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: — И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита — Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыльной пункт — понимаете?

— Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

— С нами едет,— мать будто проводить. Не вернется. Ну, М. И., за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего!..

Сматываюсь. Две корзинки: одна короткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железной сверху. В первую — сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную — полпуда и свои 10 ф. В общем, около 2 п. Беру на вес — вытяну!..

Дорога.

Смеемся, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки — по колено. Помощь отвергаю,— человека из-за мешков не видно! Тригорбый верблюд.

Иду — скриплю. Скрипит и корзинка — правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипыванье.

— Да подождите же, говорят! Мешок прорвался!

Корзины на земь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное, лицо.

— Ну булавка-то у вас хоть есть — аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно струящийся мешок. Теща охает:

— И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чуяло мое сердце! (Мешку): — Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой — глаза выколола!

— Завтра, завтра, мамаша! — торопит Колька,— нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

Платформа живая. Ступить — некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками,— мешки на людях (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб). И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи... Морщины, овчины... Не мужики и не бабы: медведи: оно.

— Последние пришли, первые сядут.

— Господа и в рай первые...

— Погляди, сядут, а мы останемся...

— Вторую неделю под небушком ночуем... У-у-у...

Посадка.

Поезд.— Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

— Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем!

Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны — завалы. А навстречу завалам вагонным — ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще — завалы платформенные.

— Ребенка задавили! Ре-бенка! Ре...

Лежачая волна — дыбом. Горизонталь — в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются. Я — через всех — Разину: — Ну? Ну?

— Ус-пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

— Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

— А это что ж, а? Это что ж за птицы-за синицы? Штыка-ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа-ать?

— А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем (Все ли? Озирнуться нельзя). Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где — не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

---

* Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине.